



**БОРИС
ЗЕМЦОВ**

**УКРАДЕННЫЙ
ГОРИЗОНТ**

ПРАВДА РУССКОЙ НЕВОЛИ

Борис Земцов

**Украденный горизонт.
Правда русской неволи**

«Книжный мир»

2018

Земцов Б. Ю.

Украденный горизонт. Правда русской неволи / Б. Ю. Земцов —
«Книжный мир», 2018

ISBN 978-5-6040783-5-8

Русская и советская тюремная проза имеет давние традиции, идущие от таких литературных классиков, как Федор Достоевский («Записки из Мертвого дома»), Леонид Леонов («Вор»), Варлам Шаламов («Колымские рассказы») и заканчивая современными авторами, прошедшими путь от писателя до зека и обратно. Нам кажется, будто в эпоху повсеместного распространения гаджетов и триумфа креативного класса, образ человека в телогрейке с лагерной биркой на фоне вышек с часowymi безвозвратно ушел в прошлое. Каторга, зона, тюрьма – по-прежнему вечно российские темы. Вечно актуальные, вечно кровоточащие, вечно рождающие массу безответных вопросов. Герой книги Бориса Земцова, попадает на шконку в соответствии с русской поговоркой «от сумы да от тюрьмы не зарекайся». Это не профессиональный преступник, это обычный человек, внезапно (по своей вине или без вины) оказавшийся в необычных обстоятельствах. Меняются правители, одна общественная формация сменяет другую, по всем направлениям наступает прогресс, а положение человека в неволе в России, как было, так и остается синонимом беды и боли, темой, измерением, где переплелись несправедливость, унижение, а подчас и смертельная опасность. Давняя народная мудрость про «суму и про тюрьму» не теряет своей актуальности и в двадцать первом веке. Как выжить в неволе? Как, не просто выжить, но и остаться при этом человеком? Кого при этом выбирать в союзники и наставники? Как строить отношения с теми, с кем приходится делить пространство неволи, и с теми, кто уполномочен государством обеспечивать порядок на этом пространстве? Эти темы – главные для Бориса Земцова.

ISBN 978-5-6040783-5-8

© Земцов Б. Ю., 2018

© Книжный мир, 2018

Содержание

Украденный горизонт	6
Досада	15
«Отче наш» пропиленовый	24
Астрал арестанта Костина	29
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Борис Земцов

Украденный горизонт. Правда русской неволи

Украденный горизонт

Воздуха в зоне не было.

Но не настолько, чтобы всё живое здесь корчилося от удушья, чтобы люди, сюда попадающие, из противогазов не вылезали.

Там не было воздуха в привычном человеческом понимании. Отсутствовал тот воздух, который можно со вкусом вдохнуть всей грудью, облегчая лёгкие, чувствуя его вкусную благодать и живительную силу.

Воздуха не было, потому что лагерь находился в глубокой ложбине между холмами, по сути, в яме. Ветер, сквозняки и прочие воздушные потоки, способные нести свежесть, или обходили зону с флангов или перекатывались сверху. Кислород в лагерь не попадал.

Что накапливалось в ложбине и служило вынужденным сырьём, для дыхания всего оказавшегося здесь одушевлённого, представляло собой едкую смесь. Основу её составляли испарения, совсем рядом расположенного болота, смрад лагерного свинарника, вонь главной помойки зоны, прозванной из-за формы мусоросборника «ракетой».

Миазмы гниющего белка разбавлял горчичный запах мешков, что изготавливались из неизвестной химической так же остро пахнущей плёнки на первом производстве «промки».

Участвовала в этом коктейле и, вроде бы не обязанная пахнуть, но всё-таки пахнущая, да пахнущая чем-то явно нездоровым или нехорошим, белёсая пыль, которая круглыми сутками клубами выкатывалась из всех щелей ангара второго производства всё той же «промки».

Именно там зеки в три смены дробили и фасовали по мешкам мел. Сырьё для их труда выгрызал из склона одного из уже упоминавшихся холмов экскаватор. Экскаватору помогал бульдозер. Обе машины при работе то и дело плевались мрачными, как слюна перечифирившего арестанта, облачками удушливой гари.

Гарь будто завершала недобрый букет предназначенного для дыхания продукта.

Понятно, летом в жару всё, что заменяло здесь воздух, начинало смердеть, вонять и всяким прочим образом напоминать о себе сильнее.

Удивительно: зимой в мороз, этот гадкий коктейль вовсе не выветривался, не изгонялся с территории зоны, а только повышал градус ядовитости, прибавлял колючей, рвущей бронхи, сухости.

Гена Новожилов, в зоне схлопотавший ничего общего не имевшее с его характером погоны Жила, продышал всем этим два года. Такого времени оказалось достаточно, чтобы усвоить: лагерный воздух – не результат случайного сочетания уровня местной санитарии с опять же местными последствиями научно-технического прогресса, плюс складки местности, плюс роза ветров.

Особым чутьём, дремлющим в вольном человеке и просыпающимся даже не во всяком арестанте, он уже понимал: этот воздух – что-то вроде не прописанной законом, но обязательной прибавки к определённому судом наказанию, непременная составляющая многослойного и многогранного понятия «несвобода». Так же, как когда-то лагерные старожилы нехотя и снисходительно поясняли ему, первоходу, теперь и он с показной ленцой, вразумлял поднявшихся с карантина и безразлично дергающих ноздрями новичков:

– Вот такой здесь духман... Ну, на то она и зона, чтобы вонять... Ароматы все на воле остались...

И добавлял после гулкой паузы совсем без зла, вроде как разделяя удивлённую оторопь новичков:

– А вы, что думали, здесь парикмахерской пахнуть будет?...

Хоть и без зла добавлял, всё равно как приговор звучало.

Помимо отравленной атмосферы имела неволя и прочие фирменные отличия. Например, не бросающиеся в глаза, но откровенно сушащую эти глаза и тем самым их убивающую палитру красок.

Скудность подобранной цветовой гаммы только подчёркивала её агрессивность.

Основным в палитре стал чёрный.

Чёрные решётки локалок, чёрные робы и телаги арестантов, чёрные недужные круги под их глазами, чёрные корешки сгнивших зубов, что обнажались уже при первых произнесённых словах.

С чёрным цветом пытался соперничать серый.

Серые коробки корпусов промки и жилки, серые стены внутри бараков, серые одеяла арестантов.

Предметы, окрашенные в прочие, когда-то, возможно, очень нарядные, цвета, оказавшись здесь, попадали под безжалостный пресс чёрного и серого. Пресса не выдерживали, неминуемо капитулировали, расставались со своею яркостью, начинали необратимо дрейфовать в сторону оттенков того же чёрного и того же серого.

Казалось, даже небо и солнце имели здесь какой-то, очень местный, сильно отдающий чёрно-серым, цвет. Будто возвёл кто-то по злой прихоти над зоной гигантский купол из закопчённого или щедро присыпанного пеплом стекла и не находилось рядом шныря с большой стремлянкой, чтобы это стекло хотя бы изредка чистить и мыть.

Впрочем, по большому счёту, неба здесь и не было.

Не было неба, опять же, в привычном, в человеческом понимании. Ведь когда оно есть, оно – везде, оно – всюду, его – просто много.

Конечно, если задрать голову, небо присутствовало. Ночью с луной и звёздами, днём с облаками и солнцем. Пусть, в местном, придушенном чёрно-серой диктатурой, варианте.

Только неподлинным, ненастоящим было это небо. Какое же это небо, когда смотришь на него, а боковое зрение то цепляется за многослойный забор из колючки, то спотыкается о вышку, на которой часовой с карабином, то упирается в мрачные коробки корпусов жилки и промки. Неправильное и противоестественное соседство! Потому как небо – вечный признанный символ воли и свободы, а здесь... попытаешься увидеть его и непременно нарываешься глазом на совершенно противоположные по смыслу символы.

С лагерной палитрой, как и с воздухом зоны, Гена Новожилов для себя всё чётко уяснил, но эти выводы во внутрь на самое доньшко своего разумения спрятал и, ни с кем ими делиться не собирался. Даже, когда кто-то из арестантов рядом на разводе нервно крутил головой и начинал костерить скудную местную панораму, он деланно удивлялся:

– И чего здесь тебе, в натуре, не нравится?

Когда же слышал в ответ вполне предсказуемую матерную тираду про тоску в красках и предметах кругом, почти возмущался:

– А ты чего хотел? Ты куда заехал-то? В зону! А нарядных зон не бывает...

Хотелось ему в такой момент от себя добавить выстраданный и лично сформулированный вывод: что всякий лагерь – это место, густо напичканное человеческой бедой, что беда с яркими цветами не дружит, что чёрный и серый здесь – самые подходящие, но всякий раз сдерживался. Понимал: лишнее, – вряд ли кто это поймёт, да и наизнанку истолковать подобные откровения желающие обязательно найдутся. Помнил, как ещё в самом начале срока сосед

по проходняку вытаращился на книги, что принёс Гена из лагерной библиотеки и заорал с дурашливой торжественностью:

– Во, гляди, Жила в профессора собрался!

Хохотнул жестяным смешком и добавил с недоброй серьёзностью:

– Думаешь, начитанным – УДО по зелёной?

Тогда получилось складно отшутиться-отболтаться, только кто знает, как и с кем в следующий раз разговор пойдёт.

Был в лагерных ощущениях Гены Новожилова и ещё один момент, с одной стороны напоминающий о несуществующей свободе, с другой – очень близко связанный с главным символом этой самой свободы – с небом: в зоне... не существовало горизонта. В какую сторону не смотри, как не вглядывайся, не прищуривайся, не было здесь той условной, как говорила ещё в начальных классах первая учительница Анна Ивановна, линии, что разделяет небо и землю.

Верно, и на воле видел Гена эту линию не часто. Разве что, за городом, когда на рыбалку изредка выбирался, или когда студентом на свеклу в колхоз отправляли. Только на воле об этом самом горизонте не вспоминалось никогда, будто и не существовало его вовсе. И не было никакого, даже ничтожного, повода о нём вспоминать.

Горизонт напомнил о себе здесь, в лагере, где, казалось бы, другие более насущные проблемы, никакого соседства с проблемой этой самой условной линии, разделяющей небо и землю, просто не потерпят. Тем не менее, именно горизонт с некоторых пор прочно обосновался в сознании Гены Новожилова и постоянно напоминал о себе, будто требуя понимания или разъяснения. Хотя, какое понимание, откуда взяться разъяснению? Ведь расположен лагерь в ложбине между холмами, по сути, в яме. С одной стороны – холм, склон которого очень круто поднимается прямо за бараками («запретка» в этот склон на манер террасы врезана). С другой стороны – болото, за которым опять же склон холма дыбится. Вроде как, сама природа никакого горизонта здесь не подразумевает.

А ещё существовали в зоне строгого режима правила внутреннего поведения. И был в этих правилах пункт, согласно которому арестантам категорически запрещалось подниматься на крыши бараков и прочих лагерных строений.

Будто специально этот пункт мусора придумали, чтобы зеки даже краешка горизонта не видели.

Конечно, и его можно было списать на издержки режима и на особенности мозгов авторов неуклюжей инструкции.

Списать-то можно только всё это как-то неестественно, а потому и неубедительно получилось. Потому и совсем в другом направлении мысли горбились. Вот снова прослеживаются параллели с незаконной прибавкой к приговору напрашивались.

Тут же и вопрос начинал топорщиться: в каком кодексе, в какой юридической литературе прописано, что арестант в России вместе со свободой ещё и горизонта лишается?

Следом другой, такой же неудобный, обречённый на вечную безответность: за что такое наказание, и можно ли вообще человека живого, пусть даже закон преступившего, горизонта лишать?

По поздней осени, когда арестантская тоска особенно густа, когда иным вовсе не верится, что воля вообще существует, взбрело Гене Новожилову, говоря зековским языком, «качнуть» на тему горизонта. Повозился он пару вечеров и выдал... обращение в Генеральную Прокуратуру родимого государства. В обращении про несправедливость, из-за которой лишены граждане, отбывающие по известному адресу срок, видеть... горизонт. Плиту самую, пусть условную, линию, что отделяет небо от земли.

Проявил при этом полную наивность и беспечность, потому как всем известно, что зековские письма, направляемые в подобные инстанции, чаще всего за пределы лагеря просто не выходят.

Знал, не мог не знать про это отсидевший уже два года арестант Новожилов, но надеялся... на чудо и на то, что персонально на представителей администрации лагеря он не жалуется, а потому и должно его письмо до Москвы непременно добраться. Надеялся...

Зря надеялся!

Прямиком из почтового ящика, что на стене лагерной столовой висел, попало это письмо на стол кума, кум с ним и со своими, несложно представить, какими, комментариями сразу к хозяину двинул.

Потом и закрутилось...

Начались у Гены Новожилова всякие неудобства и сложности в без того непростой арестантской жизни.

Первым делом его отрядник вызвал и долго непонятными, совсем даже не мусорскими вопросами донимал. Интересовался: всё ли у него, арестанта Новожилова, в порядке, кто с воли ему письма пишет, нет ли каких причин для омрачения настроения или какого прочего беспокойства.

При этом ещё и в глаза норовил заглянуть. С брезгливым состраданием и недоверчивым любопытством. С таким чувством иные кошку, раздавленную машиной, рассматривают.

Потом его ни с того, ни с сего в санчасть выдернули, даже сам главный лагерный лепила спрашивал: не падал ли он в детстве с высоты, не кружилась ли у него голова, быстро ли после отбоя засыпал и какие сны потом снились. Мимоходом полюбопытствовал, как часто на воле Гена выпивал, приходилось ли чего позабористей потреблять. Опять же, при этом как-то странно в него вглядываясь, будто болен Гена какой-то неизлечимой, доселе неизвестной, болезнью, а приметы страшного недуга были откровенно обозначены прямо на лице его.

А ещё вызвали арестанта Новожилова в дежурку, где в присутствии мусора из дежурной смены ждала его очкастая гражданская дамочка, что представилась психологом. Та с места в карьер попросила науку помочь, в тестах поучаствовать. От Гены потребовалось разноцветные кружки, квадратики и треугольники в определённом порядке сложить, какие-то слова из перечня вычеркнуть, какую-то дурацкую картинку нарисовать.

Всё это сильно на игры воспитанников детского сада смахивало, даже присутствующий мусор откровенно презрительно хмыкнул, но дамочка вполне довольной была, то и дело с придыханием повторяла:

– Оч-ч-чень хорошо... Очень интересно... Как неожиданно...

Впрочем, вся эта возня, похоже, только пристрелочной подготовкой была к чему-то куда более серьёзному.

И это более серьёзное себя ждать не заставило.

Через неделю громом громыхнуло известие о том, что списали его с «промки».

От мусоров объяснений по этому поводу не последовало, а «козёл» Федя, бригадир, под началом которого Гена шил из пахнущей горчицей плёнки мешки на первом лагерном производстве, украдкой, когда никого рядом не было, растолковал. Не сильно складно, но правдоподобно:

– Тут такая хрень... Мусорам кто-то в уши надул, будто ты в последнее время какие-то письма непонятные пишешь, ну, и... вообще, сильно задумчивым стал, как без пяти минут не в себе... А на «промке» механизмы всякие, да и электричество на каждом шагу... Не ровен час, ты со своей задумчивостью в какую беду вляпаешься... ЧП, сам понимаешь, тогда... Кто хочет погоны терять? Очкуют они, потому и перестраховались, списать тебя решили...

Для любого арестанта, а для арестанта-тяжеловеса, у кого срок больше пятёрочки, особенно, списание – это удар в самый пах. И не в том дело, что зек со списанием лишается жиденького, пусть даже порою единственного, ручейка дохода (на чай, на курево, что можно приобрести по безналу в лагерном ларьке).

Куда серьёзней, что «промка», пусть, с бестолковщиной в организации труда, пусть, с нищими, а то и вовсе по беспределу обрезанными заработками – всё равно – движуха, смена декораций, какое-никакое биение жизни. А без этого арестантское время останавливается, а порою и вовсе назад пятиться начинает.

Следующий удар ещё ошутимей был и вовсе с неожиданной стороны грянул.

В один из вечеров позвали Новожилова в угол, где смотрун отрядный и весь отрядный блаткомитет его дожидались. Ещё здесь и двое представителей из «кремля», из шестого барака, где базировался блаткомитет всей зоны, присутствовали.

«С какой стати выдержнули? Ради добра не зовут... Значит— предъява... А в чём проколаться мог? На общее выделяю регулярно, долгов по игре нет, да и прочих косяков не было... Чего же тогда? За что?», – всё это быстро и нервно пронеслось в голове у Генки.

Чутким глазом он и сосредоточенную угрюмость в лицах тех, кто его ждал, отметил. От этого тревоги прибавилось.

Ещё тревожней стало, когда пауза молчаливая затянулась: Генке разговор затевать было не резон (не принято в зоне раньше авторитетов язык протягивать), а те, кто его позвал, то ли ждали чего, то ли с мыслями собирались. По всем приметам совсем недобрыми эти мысли были.

Наконец, один из пришедших с шестого барака – Леха Тихий (погоняло его как нелепая шутка звучало, потому как по делу висело на Лёхе аж два «жмура»: завалил в разборке так запросто, как два стакана водки хватил) разрубил паузу:

– Ты чего, Жила, такой оборзевший?

После этого к тревоге ещё и жути прибавилось.

– Не аборзевший, а ох...ший! В корень ох...ший!

Это говорившего другой делегат шестого барака – Ромка Цыган поддержал.

Когда блатные в строгой зоне с арестантом-мужиком подобным образом разговор начинают, ничего хорошего не жди. И всё равно не понятно Генке было, какой и где он косяк допустил. Только попытался прикинуть, как бы этот вопрос поделикатней сформулировать, так и необходимые пояснения последовали. Валерка Сова заговорил, смотрун его отряда.

– Слышь, Жила? Ты с месяц назад телегу прокурорским в Москву отправлял? Почему никого не курсанул? И почему никому не сказал, когда такую бумагу затеял? Разве не говорили тебе: любая бумага, что отсюда на мусорские верха улетает, общему, нам всем, боком выйти может?

Не зло Сова говорил, почти ласково, только от этой ласковости зловещим веяло. Теперь уже совершенно ясно было, что нырнул арестант Новожилов в историю, из которой без потерь никак не вынырнуть.

А смотрун продолжал. Тем же чуть ли не ласковым голосом.

– Забыл, как прошлый год по весне в лагерь «маски-шоу» заходили? Помнишь, сколько они в зоне народу переломали? А почему так случилось, напомнить? Забыл, что это всё из-за Гришки Турка с третьего отряда, который телегу напрямик в Москву отправил, заварилось? В телеге он пожаловался, что ему по хозяйской линии каких-то специальных колёс для его гнилого ливера не выдают. Из Москвы тогда полканов мусорских понаехало, управу нашу вздрючили, кто-то из местных мусоров раньше срока на пенсию улетел, а нам за это в оконцовку с управы «маски-шоу» прислали... Помнишь, как потом столько дней в бараках полы поднятые колом стояли? Помнишь, сколько потом пацанов в больничке и в санчасти отлёживалось? Вспоминай...

Вспоминать и не надо было, потому как не забываются такие вещи.

Разве забудешь, как спецназовцы тюремного ведомства, которых зеки «маски-шоу» называют, на лагерь обрушились. На бетеэрах заехали. Все, как на подбор, великаны в чёрных шлемах-сферах, то ли космонавты, то ли, бери выше, пришельцы космические. Как иноплане-

тяне эти за час всю зону на уши поставили, полный разгром учинили, как всё и всех налево и направо крушили и курочили. Тогда и самому Гене досталось: сначала дубиной по хребтине (отчего дыхание в раз переклинило), потом берцем в копчик (после этого он неделю сидеть не мог и спал только на животе).

И других покалеченных зеков не забывал, и те самые, колом поднятые, полы в бараке, про которые сейчас смотрун упомянул... Заодно почему-то рыбок-гуппешек, что на последнем дыхании на полу барака бились, вспомнил... Гуппешки там оказались после того, как погромщики в шлемах-сферах аквариум в бараке разбили... Не приглянулся им почему-то этот аквариум...

Вот теперь всё окончательно ясно стало.

Все вопросы, что до этого шальной каруселью в голове крутились разом команду «стоп» выполнили.

В одну чёткую цепочку выстроились и беседа с отрядником, когда он нездоровое любопытство демонстрировал, и выдёргивание в санчасть, где нелепых вопросов пришлось наслушаться, и все эти тесты с вольной дамочкой, что психологом представилась. Выходило, что он лагерному начальству со своим письмом про горизонт, то ли сумасшедшим, то ли каким-то опасным возмутителем показался.

А за цепочкой – ситуация, по сути простенькая, но в простоте этой просто мерзкая, всякому в Отечестве нашем сидевшему, хорошо знакомая: администрация зоны неудобного зека руками тех же самых зеков остепенить пытается. «Руками» иногда в самом конкретном смысле этого слова.

Не в каждом лагере такая практика прокатывает, но уж где случится... то налицо мерзость великая. Тогда не только горячими слезами плачут общечеловеческие понятия «честь» и «порядочность», но и тюремно-лагерные великие правила, те самые понятия, что веками складывались, «тихо курят в сторонке».

Исполнителей для такой мерзости по особому принципу отбирают. С одной стороны они – на виду у всех за воровской закон горло дерут, вроде как в авторитете, вроде как серьёзные. С другой стороны – каждый с червоточиной. Кто – наркоман голимый, который за дозу на что хочешь решился, кто просто на кума стучит, на льготы взамен надеется, кто ещё в каких прочих бигудях с мусорами попутан. Таких вот лагерная администрация для исполнения своих планов и подбирает. Потом за участие в мерзости и расплата: кому «лекарства» – доза (наркоты у мусоров хватают, из конфискованного у тех же зеков собирается), кому – УДО поскорей, кому ещё какая услуга.

Не разумом, всем организмом, который запросто и очень лихо мог пострадать в самое ближайшее время, понимал Гена, что оправдываться, пытаться что-то объяснить, вообще говорить сейчас бессмысленно. Потому и молчал. Лишь носом шмыгал да головой кивал. Всё ещё пытался прикинуть, по какому сценарию дальше события пойдут и можно ли в этом сценарии хотя бы на чуть-чуть в лучшую сторону вырулить. Только к этому сценарию он и подступиться не успел.

– Ачеготы, Жила, гривой трясеешь? Отвечай, когда спрашивают...

Это Цыган опять голос подал. Да не просто подал, а закричал, почти завизжал на высокой бабьей ноте. Последнему Гена и не удивился даже, потому как известно было, что Цыган сидит по «народной», да ещё сам – наркоман со стажем, пристрастия своего в зоне вовсе не оставивший. По этой причине и психику имел нарушенную и часто истеричными неровностями в своём поведении окружающих удивлял.

– Да не хотел я никому проблем создавать...

Единственной, да и то незаконченной, была фраза, которую арестант Новожилов в тот момент произнёс. И слово «горизонт» в ней не успело прозвучать. Потому как тяжелая мокрая затрещина обрушилась на него. Смотрун Валерка Сова бил. Мощно ударил, рука чугунная,

даром что ли на воле забойщиком скота работал. Оттого у Гены и зубы лязгнули, и во рту от прикушенного языка липко и солоно сделалось.

Следом ещё две затрещины. О них он скорее догадался, чем почувствовал. Это оттого, что лицо с первого удара онемело, и боли уже не воспринимало. Дёрнул на автомате руки вверх, чтобы голову прикрыть, тут же и опустил, потому что донеслось до него:

– Куда клешни тянешь? Ты мужик вроде, так стой ровно, когда с тебя спрашивают!

Уже и не понятно было, кто говорил, потому что с первой затрещины заложило у Гены уши и все звуки теперь доходили до него будто через подушку в неузнаваемом виде...

Три затрещины мужику от смотруна – наказание серьёзное, но это – ещё не позор, не тот сигнал, что отделяет арестанта порядочного от арестанта непорядочного. Возможно, потому и перенес Гена Новожилов это наказание стойко, без соплей, даже без вопросов. Хотя не сомневался нисколько, что наказание это, по сути своей, по истинным причинам его породившим, – незаслуженное, с беспределом не то, что граничащее, а беспредел этот олицетворяющее.

К наказанию и довесок грянул: из почти почётного третьего проходняка, если от угла считать, где смотрун располагался, Гену переложили на десятый, откуда до места обитания каптёра, бригадиров и прочей краснопузой, по лагерным понятиям, сволочи, совсем рядом. К тому же теперь спать ему полагалось уже на «пальме» – на втором, не сильно уважаемом, ярусе двухэтажной арестантской кровати.

И это арестант Новожилов перенёс спокойно, даже как-то отстранённо, будто всё происходящее не с ним, а с кем-то другим, совсем посторонним, творилось...

Похоже, такая отстранённость и стала теперь главным при восприятии Геней всего происходящего. Очень может быть, что именно это, внезапно обретенное, свойство помогло ему ровно и мужественно домотать весь срок до звонка, никаким УДО не соблазняясь.

О многом за это время приходилось размышлять: бывало, и о горизонте вспоминал, но вспоминал мимоходом, как о чём-то, вроде бы и существующем, но очень далеко и надолго отодвинутым. Даже без всякой связи с теми затрещинами от смотруна в углу. Так давно и навсегда утраченные вещи вспоминаются.

Например, были у Гены Новожилова в начале срока чётки. Не традиционные зековские, из крашеного хлебного мякиша или из плавленной на огне самодельного тигля пластмассы сработанные. Те чётки были фирменными монастырскими из какого-то нездешнего плотного ароматного дерева сделанными. Их сестра через адвоката Гене ещё до суда передала. И в СИЗО они ему исправно служили, и по этапу сопровождали, и в зоне первые два месяца помогали с мыслями собираться, душевное равновесие поддерживать.

Не сказать, чтобы Гена сам себя к рьяно верующим относил, но «Иисусову молитву» и «Отче наш» наизусть знал, в трудные моменты про себя повторял, понятно, при этом и чётки свои перебирал. Любопытно, что в такие моменты, как ему самому казалось, деревянные кругляши он особенным образом руками чувствовал, и чувство это напрямую с умом и сердцем неведомым способом связано было. Только чётки в зоне пробыли с ним совсем недолго: пропали после одного из шмонов. То-ли кто из мусоров шмонавших пригрел, из тумбочки выцепил, толи кто свой, из арестантов, скрысил.

Долго потом ещё по привычке Гена пальцами впустую теребил, будто чётки эти утраченные перебирал, вспоминал по-доброму предмет этот незатейливый, а после как-то забылось всё в суете арестантской жизни. Как и не держал никогда он этих чёток в руках, как не было никогда этих чёток вовсе.

Что-то похожее и с горизонтом случилось...

Иногда в памяти всплывало что-то на эту тему. Только сюжет зыбким был с нечёткими краями и в размытых красках. Будто эти воспоминания случайно от чужого человека, словно заблудившись, в сознание Гены Новожилова забредали. Потому они там и не задерживались, пропадали, никакого следа после себя не оставив.

Удивительно, но даже слово «горизонт» до конца срока он не употреблял. И не сказать, чтобы при этом, какое насилие над собой предпринимал. Просто не было повода подобное слово вспоминать, и никакой подходящей причины не подворачивалось.

Про горизонт вспомнилось в жизни Гены Новожилова гораздо позднее, уже в послезоновской вольной жизни.

Заметить надо, что жизнь эта для бывшего зека Новожилова сложилась вполне ладно. Подфартило ему везде, где только могло повезти вчерашнему арестанту: и спутница жизни терпеливая и понимающая нашлась, и работа, где лагерное прошлое не мешало, подвернулась, и ещё много в чём повезло.

Уже через год после отсиженного срока даже что-то похожее на достаток в этой жизни наметилось. Отсюда и появившаяся возможность за рубеж выезжать. С любопытством поглазель Гена Новожилов на красоты, которые раньше только в телевизоре видел, проехался по болгариям-черногориям и прочим европейским, и без того истоптанным российскими подошвами, территориям. Мог бы при этом и про горизонт вспомнить, да не пришлось, опять как-то не складывалось...

Горизонт сам о себе напомнил. На далёком острове Куба, куда Гена из промозглой российской осени по горящей путёвке рванул.

Резко и внезапно это случилось. Стучилось, когда кругом полный покой, настоящий на карибских специях, царил, и ничто никаких событий не предвещало.

Сидел тогда Гена на пляжном пластмассовым лежачке, покуривал сигарку, особенно вкусную после ромового коктейля с заковыристым названием, ни о чём не думал, ни о чём не вспоминал, неспешно по сторонам посматривал. Ничего нового не обнаруживал, видел только то, что и раньше: впереди – волны с кудряшками пены на белый песок набегающие, справа – скалы, блестящие, как жиром намазанные, слева – пальмы, верхушки у которых при ветре шуршали, ну и всякие отдыхающие, в основном соотечественники, которых ни в одном краю ни с кем не спутать.

Всё это ему с монотонной ласковостью глаза мозолило до тех пор, пока однажды головы не вскинул. А когда вскинул... Будто кто-то невидимый и могучий схватил за плечи и потряхнул так, что сердце к горлу подпрыгнуло. Показалось даже, что и зубы лязгнули. Совсем как тогда, когда блатные в углу барака с зека Новожилова за письмо «про горизонт» в мусорские верха спрашивали.

В этот момент... Гена горизонт увидел. Не тот это был горизонт, что он на рыбалке или «на свекле» в допосадочной жизни видел. Широкий, очень широкий был этот горизонт. Края его вовсе не улавливались, как голову не поворачивай. И той самой линии, что полагалось, как учила Анна Ивановна, разделять небо от земли, точнее от края океана, вообще не было. Потому что в том, очень далёком, месте: и небо, и вода были почти одинакового цвета, в котором намешаны не только синий и голубой, но и многие прочие совсем неожиданные, включая даже оранжевый и желтый.

– Ты чего, Генаш?

Это встрепенулась сидевшая рядом жена, да осеклась сразу, даже лица его не увидев, а только почувствовав запредельное напряжение и какое-то ещё очень сильное, но ничего общего ни со страхом, ни с тревогой не имевшее, чувство, что подкинуло мужа с пляжного лежака и заставило вытянуться в хищную струнку.

Не слышал Гена в тот момент жену. Да и ничего другого не слышал. Будто отключил кто-то все звуки вокруг. Сам заговорил. Совсем негромко, горячо, но бессвязно, как нездоровые люди в бреду говорят. Перемешивая забористый мат с обычными словами:

– Красивый!.. Ух ты!.. Большой!.. Только цветной какой-то... Не мой... Раскрашенный... Невзаправдашний... Нет... Не мой... Мой мусора... Вот суки... Даже горизонт... И тот... Не мой... Украли...

Только потом за словами, вопреки всем законам очередности, мысли пришли. Вполне спокойные, уже цензурно выраженные. В них сдержанное удивление с горючей обидой перемешано было. И ещё много чего, о чём может отсидевший русский человек вспомнить может.

– Ты чего, Генаш?

Повторила жена незатейливый свой вопрос. Не считал нужным он что-то объяснять, но и молчать неудобно было. Крутанул головой по сторонам, с облегчением увидел альбатроса. Мощная птица с великим достоинством на небольшой высоте кромку прибоа патрулировала, на обилие людей внизу, на галдѣж от них исходящий, внимания, кажется, не обращала.

– Вот... Альбатрос...

Объяснение убедительным показалось. Дальше спасительную птичью тему развивать и не пришлось. Кивнула жена, в журнал уткнулась. К лучшему, что ни о чём больше спрашивать не стала. Не хотелось ему ни о чём говорить. Хватило желаний только буркнуть:

– Я в номер...

На этот раз сказал правду.

В номере он махом выпил полстакана рома, сел с раскуренной сигарой на балконе.

Балкон выходил на противоположную от океана сторону, но здесь всё равно всегда пахло водорослями, какой-то пряной приправой и всем прочим, чем пахнет обычно на кубинском курорте. Этот запах был здесь всегда и, казалось, быть ему вечно, но сейчас вместо йода и специй Гена Новожилов почувствовал в воздухе что-то совсем другое, но хорошо знакомое, до дней его последних всегда узнаваемое. То, что заменяло в зоне воздух, но что ничего общего с воздухом не имевшее. Всего на долю секунды почувствовал. Конечно, не поверил. Конечно, посчитал, что показалось. На всякий случай посильней пыхнул сигарой. После того, как снесло ветерком сизые пахучие кольца, окончательно убедился: показалось. По-прежнему пахло здесь водорослями, пряностями и ещё чем-то, чем пахнет обычно на кубинском курорте. Уже вслух подытожил:

– Показалось!

Так же вслух добавил про то, что горизонт украли.

Почти повторил то, что недавно на пляже бормотал.

Конечно, вместо глагола «украли» другое слово употребил. Из категории непечатных, но в этой ситуации куда лучше подходящее.

Досада

Ни страха, ни удивления не было.

Разве что досада была.

Потому что случилось это именно здесь, именно сейчас.

Будто бы все события своей жизни человек по собственному усмотрению способен вгонять в параметры «где» и «когда», «нужно» и «можно»...

Сначала хрустнула целлофановая занавеска, отделяющая дальняк от прочего пространства камеры.

Он уже не ждал ничего хорошего от этого звука.

Готовясь к худшему, вжался в и без того продавленное днище шконки, собрался.

Почти не ошибся. Только поморщился, когда из-за складок занавески через порог дальняка тяжело перетекла... гусеница. Трёхцветная: чёрно-рыже-серая. С лёгкой зелёной проседью поверх стоящей ёжиком шерсти. Очень похожая на тех гусениц, что в разгар лета в среднерусской полосе можно встретить в любом огороде.

Вот только размером эта гусеница была с... хорошего ужа. И толщиной в... бутылку-«полторашку».

Потому и так звучно двинулась занавеска, потому и так заметен был этот вытянутый яркий цилиндр на куцей и безликой тюремной территории.

А ещё глаза...

Не помнил он, какие органы зрения имели те обычные огородные гусеницы. Может быть, вовсе их не имели. Зато здесь они были... и были громадными, круглыми и блестящими.

Представлялось, что прикреплялись эти глаза к голове на каких-то верёвочках. Потому и вращались почти по окружности, охватывая своим нервным вниманием всё пространство вокруг.

Злыми и беспокойными были эти глаза. Будто срочно искали кого-то с недоброй целью.

Гусеница неспешным, но очень прямым маршрутом перекатилась под дубок, за которым торкалась нешустрая камерная жизнь: кто-то играл в нарды, кто-то писал письмо, кто-то просто высиживал, дожидаясь своей очереди занять шконарь.

«Если из дальняка, значит, «по-мокрому», но нет на полу мокрого следа, и воды на шерсти – ни капельки, странно...» – только и успел он отметить.

Ещё раз хрустнула целлофановая занавеска, и новый гость камеры – громадная, украшенная орнаментом из множества разнокалиберных бородавок, жаба вывалилась на порог отхожего места. Вывалилась, замерла на мгновение, будто осваивая новую территорию, и заковыляла своим путём. Не по следу гусеницы под дубок, а под сорок пять градусов вбок, почти в самый угол хаты, туда, где обитал на полу, не имевший права спать на шконаре, обиженный Пурген. Именно заковыляла, потому что свои лапы перетаскивала с места на место трудно и нехотя. Так человек передвигается после недавнего тяжелого инсульта.

Как-то не обратили на себя внимания глаза этого существа. Зато ноздри выделялись. С хлюпаньем и присвистом втягивали они в свои, влажные, лиловые изнутри, отверстия невкусный тюремный воздух, и... было в этих звуках что-то зловещее. Будто вынюхивали что-то – опять же не для добра.

С матёрого и очень раскормленного кота была та жаба, но это при поджатых под брюхо лапах. Стоило же при движении хотя бы одной из этих лап выдвинуться вперёд, как размеры животного увеличивались.

На глаз он машинально сопоставил габариты жабы и диаметр отверстия отхожего места. Выходило, что никак не могло это существо воспользоваться для своего путешествия канали-

зационными трубами. «Неужели вылезла маленькой и сидела, ждала, пока подрастёт», – невесело пошутил про себя.

Очень быстро пошутил, потому что очень скоро, на этот раз совершенно бесшумно, отодвинулась занавеска, и новый незванный гость объявился на пороге дальняка. Совсем непривычную внешность имел тот гость и со стороны походил то ли на стоящую вертикально неряшливую вязанку изломанных и наспех собранных хворостинок, то ли на пук капризно изогнутых проволок. Не очень заметным в этом хитросплетении было и семечкообразное туловище, на котором даже головы, не говоря уже про глаза и пасть, просто не угадывалось. Если бы не шевелящиеся конечности, вовсе нельзя было признать одушевлённым это существо.

«Богомол... Есть такое насекомое... Богомол... Только очень большой... Такой большой, каких в природе и не бывает...», – всплыло, будто пропечаталось в памяти.

И вдогон – не удивлённое, а скорее растерянное про то, что вроде бы как и нечего этому существу здесь делать, так как обитает оно только в далёких тёплых краях.

Тут же рядом зарубкой более важное отложилось: «Конечности постоянно шевелятся, уж не антенны ли это, с которыми любое пространство без чутья и зрения обшарить можно... А чего шарить? Кого эта уродина вычисляет?»

Не было никакого желания отслеживать, куда двинется неуклюжее, будто наугад сложенное из шарниров и суставов создание. Рождённая инстинктом самосохранения внутренняя тревога подсказывала, что сейчас куда важнее определиться, как вести себя в ближайшее время, на которое непременно выпадут новые, возможно, самые непредсказуемые события.

На этот момент сознание его уже разделилось на две не враждующие, но очень разные и абсолютно самостоятельные части. Одна часть чётко, чуть ли не по складам инструктировала: «Тебе всё это мерещится... Никаких гусениц, никаких жаб, никаких богомолов, тем более таких громадных, как на дрожжах раскормленных, здесь, в камере СИЗО, быть просто не может...»

Это – «белочка»... Не важно, что ты уже несколько дней здесь, и не капли водки за всё это время ты не выпил...

Так бывает... Болезнь догоняет в самое неподходящее время, в самом неудобном месте...

В одиночку тебе с этим не справиться... Врача надо... Пусть местного, мусорского, который всех, кто к нему здесь обращается, ненавидит... Всё равно должен помочь... Обязан... Какие-нибудь таблетки даст или микстуру...

Через паузу и уже с командирским нажимом, что возражения исключает, было добавлено, как вколочено: «В одиночку не справиться...»

И в усиление сказанного как приговор шепотом повторено: «Не справиться!»

Другая часть сознания какое-то время отмалчивалась, будто выжидая и собираясь с силами, потом решила, обозначила свою точку зрения. Вкрадчиво, не настойчиво, больше сомневаясь, чем советуя, прошептала: «Ты же их видел... Во всех мелочах и деталях... И проседи зелёную на шерсти у гусеницы, и ноздри лиловые у жабы, и эти суставы-проволочки у богомола... Всё видел...

Мог бы даже дотянуться, потрогать... Кажется, прекрасно ты представляешь, что при этом мог бы почувствовать... Какая на ощупь пружинистая шерсть у гусеницы, какая влажная и склизкая кожа у жабы, какие сухие шершавые стебли-конечности у богомола.

Значит есть Они, существуют независимо от твоего желания... Причём здесь врач? Не надо врача... Всё равно, сразу не появится, даже если в «тормоза», в железную дверь хаты, что есть мочи колотить... Да и придёт, не факт, что поверит и решит помочь, скорее всего за симулянта примет, за того, кто косит, косматит... Ещё наряд дежурных мусоров призовет, наябедничает, о том, как ты беспокойство чинишь, попросит подмолодить, попросту поколотить тебя...

Может и пьяным оказаться, такое, рассказывали, уже было, тогда вообще всё непредсказуемо...

И, вообще, причем здесь врач со своими таблетками и микстурами, когда Они уже пришли... Важнее прикинуть, где они сейчас затаились, как себя поведут...

Может быть, проще просто привыкнуть к Ним... Относиться к Ним, как ко всему, что здесь окружает... По принципу: радости – мало, но куда денешься, если сюда попал... Но это, если Они вести себя тихо будут... Если тихо... Если...

Интересно, кто Их прислал... Только куда важнее, что у Них на уме, что сейчас в планах у Них... Соответственно определяться надо, как Их встречать...

Скорее всего, не с добром Они нагрянули... Тогда...

Война, короче...

Чем же Их встретить?

Есть в хате заточка... Острая... На кирпиче, со слоника отломанном, заточенная... Одна на всех... Общественная, или, как говорят здесь, «общаковая»... Чтобы колбасу, сало, прочие харчи из передатки порезать... На обломке магнита в заветном углу под дубком запрятана...

Официально заточка – конечно, запрет... Почти оружие... А неофициально... По неписанным правилам тюрьмы одну заточку на хату иметь допускается, потому и мусора на шмонах на неё глаза закрывают... Вот, если бы её заполучить... Только невозможно это... Чтобы «общаковую» заточку к себе под подушку? Не приветствуется! Вопросов будет куча, на которые и ответить нечего...

Заточку делал Никита Самарский... Из невесть как попавшего сюда обломка полотна ножовки за полдня смастерил... Рукастый... Может быть, его попросить ещё одну сделать... Возможно, не отказал бы... Только не принято в хате персональные заточки иметь... Есть одна на всех – и довольно! А объяснять, с чего ты персональной решил обзавестись... Не пройдёт...

Ещё в этих стенах роль оружия иногда кипятки выполняет... Бывает, что им особо вредному баландёру в рожу плескнут... Случается, что самый отчаянный арестант с кипятком и на мусора ополчится, если тот сильно его придирами по беспределу достанет... Понятно, за этим раскрутка, добавка к сроку...

Впрочем, не об этом сейчас разговор... Важнее прикинуть, поможет ли в нынешней ситуации кипятки? Кажется, вряд ли... Разве испугаешь таких тварей кипятком обычным... Да и не будешь «общаковый» чайник у себя под боком круглые сутки наготове держать... Кто позволит всю хату без чая, без чифира оставить...

Выходит, безоружным эту троицу придётся встречать... Верно, и не может в этих условиях по-другому быть...».

Опять что-то зашевелилось в первой части сознания.

Правда, всё то, что касалось «белочки», что заполняло ёмкий смысл глагола «мерещится» не то, чтобы пропало вовсе, но круто ушло в сторону, в потёмки. На первое отлично освещённое место вышло то, что до этого завершало командирскую внутреннюю инструкцию: «В одиночку не справиться...».

«В одиночку не справиться...».

Только теперь этот приговор в другой плоскости кувыркался. Ведь «не в одиночку» – это не обязательно к мусорскому лекарю на поклон, можно и в хате обо всём этом рассказать, помощи попросить... Тот же смотрун, Вован Грек – бывалый, крученный, наверняка найдёт, чего посоветовать, подсказать... На худой конец, заручиться бы его помощью в случае, если эти гости всё таки что-то начнут...

Вот только, что ему расскажешь? Про то, как очень большая гусеница из дальняка выползла? А следом такие же переростки – жаба с богомол... Ещё не известно, знает ли он, что это за существо такое – богомол... И – главное: разве легко ему во всё это поверить? Покрутит пальцем у виска? Рассмеётся в лицо? Или скажет: обоснуй! А чем обоснуешь?

Может быть, кто ещё из арестантов эту троицу видел?

Если бы видели, тогда бы сказали, тогда по этой теме в хате разговор был... Событие всё-таки в застойной здешней жизни...

Не было никого разговора.

Значит, никто не видел ни гусеницы, ни жабы с богомолем...

Но это не значит, что они не приходили...

Почему, кстати, «приходили»? Ведь обратно они не ушли... Выходит, остались в хате... Где-то засухарились, чего-то ждут... В любой момент могут снова объявиться... Всеми тремя персонами... Опять же, зачем? Чтобы с собой забрать? Куда? Или что-то нехорошее прямо здесь сотворить?

Показалось, что, ещё совсем недавно очень ясная граница между двумя частями его сознания завибрировала, утратила часть чёткости, а после и вовсе пропала. После этого в мыслях чехарды не грянуло, просто мыслей этих стало совсем немного, и все они вокруг главной темы сгрудились. А главная она целиком о том, как гости себя поведут, и что вообще им здесь надо.

Как-то по-тихому и о другом подумалось; вдруг эта кампания кого-то за собой подтянула, и подкрепление это уже здесь в хате хоронится, своего времени «Ч» дожидается?

Может быть, всё-таки поделиться с Вованом-смотрунном? Рассказать, какие гости в хате своего часа караулят, и, того гляди, объявятся? Вдруг, поверит, поможет...

А, если, наоборот? Ведь было, буквально вчера было, тот же Вован Грек отвесил леща Сашке Касперу, когда тот припадок эпилепсии стал изображать... У Каспера голова так и дёрнулась... И никакого врача звать не потребовалось... Так этим дело и не закончилось. Смотрун ещё своей шестёрке Колянну Пушкину шепнул... Тот Касперу добавил... Хорошо добавил...

Стоит ли вообще про гусеницу, жабу и богомола в хате озвучивать? Или... Самое реальное здесь всё-таки на себя одного рассчитывать. А это значит, одному против троих... Без заточки, без кипятка, только с голыми руками...

Ещё раз очень внимательно посмотрел он по сторонам.

На всякий случай посмотрел... Потому как знал, что ни тяжелого, ни острого в хате не найти. Скользнул взглядом по дубку и двум лавкам: всё добротное, из металлических уголков сработанное. Всё так же основательно к полу приварено. Ни сдвинуть, ни своротить!

Зацепил краем глаза шкафчик железный на стене. Кажется, к нему кто-то с похожими целями уже подступал, потому как висел шкафчик без дверей. Эту деталь он с сожалением отметил, ведь могла бы такая дверь, отделённая от шкафа, оружием послужить: и вес подходящий, и углы острые в наличии...

Впрочем, возможно, двери сами мусора и сняли... Чтобы арестанты от греха подальше были...

Значит, всё-таки с голыми руками одному против трёх...

Но это в том случае, если Они всё-таки пришли, если Они всё-таки здесь... И это в свою очередь тогда, если Они вообще есть, вообще существуют...

Хотя... Абсурд всё-таки это: и гусеница, и жаба, и богомол... Неоткуда им взяться в тюремной хате... По коридору им сюда – никак, там решётки и двери железные на замках, там продольные и прочие мусора во все глаза во все стороны секут... Мимо – не то, что звери с такими габаритами, мышшь не проскочит...

И «по-мокрому» им в хату – никакой возможности... Очко на дальняке узкое – никому из троицы туда не вписаться... Да и водяного следа нигде не осталось... Не могла же вода молниеносно в один миг испариться так, что ни капельки не осталось... Опять абсурд...

Ещё один абсурд в придачу к другому абсурду... Только тот «другой» первый абсурд, и поважней, и помасштабней, чем все эти абсурды с живностью, у которой, пусть, неизвестно что на уме...

Первый абсурд – это не какие-то там гады, невесть как в хате оказавшиеся... Которые к тебе интерес, может быть, имеют, а, может быть, ты им и решительно – до лампочки... Которых, кстати, кроме тебя, пока никто и не видел...

Первый абсурд – эта штука персонально для тебя предназначенная, с твоей судьбой, с твоей жизнью связанная... И это сейчас самое важное...

Первый абсурд – это персонально твоё... По той причине ты здесь и обитаешь... Пока здесь... Позднее, после суда – в зону...

Первый абсурд пока на двух листочках стандартного формата помещается... По-казённому называется: «Предварительное обвинение...»

По сути, эти два листочка – документ, что твою судьбу на ближайшее время определяет... А, может быть, и вовсе на всю оставшуюся жизнь...

На этих двух листочках всё о том, что ты – Преступник... Правда, это «всё» опять таки из одного абсурда состоит.

На тех двух листочках, про то, как ты в «неустановленное дознанием время, в неустановленном месте, у неустановленного лица незаконно приобрёл предмет, являющийся стандартным взрывным устройством промышленного изготовления – электродетонатором ЭДС, снаряжённым навесками иницирующими и бризантными взрывчатыми веществами...»

Конечно, этот документ с мусорского косноязычного на общечеловеческий ещё перевести надо. Только и без этого понятно, что ты в тот последний день своей воли купил или взял у кого-то то, что называется «адской машиной»... Правда, пьян был, потому и с этим приобретением в кармане заснул на лавке в детском городке...

Разбудили мусора... Окончательно проснулся уже в отделении... В себя пришёл уже в СИЗО... В качестве обвиняемого по статье 222... На арестантском языке эту статью «три гуся» называют... Это из-за трёх цифр одинаковых... Каждый арестантской жизни хлебнувший знает, что ничем хорошим от этой статьи не пахнет...

И ещё каждый слышит, что в последнее время, на фоне проявления терроризма и экстремизма, в русле «усиления и углубления» эта статья для всех серьёзных ведомств козырной становится. Для тех, кто ловит, задерживает, выявляет «по трём гусям», серьёзные перспективы открываются: и новые звёзды на погоны досрочно, и новые назначения по служебной линии, и ещё прочие респекты. У мусоров теперь по этой теме вроде как обязателька – в каждом отделении в каждом квартале столько-то поймать, задержать, арестовать... Не поймаешь – проблемы обеспечены. Тут не только рублей премиальных не досчитаешься, можно и с должности слететь, и прочие трудности огрести. Потому мусора и очень заинтересованы, чтобы кого-то по «трём гусям» изобличить.

Только не сильно у них это получается: профессионализма не хватает, а то и грамотёшки обычной. А план, обязателька – дают. Важно в срок в отчётах в нужной графе непременно «палку» поставить: мол, поймали, а, значит, хлеб свой не зря съеден. Вот и пошла в мусорской среде мода – задержание по 222-й организовывать, а, сказать проще, невиновным улики подбрасывать-подсовывать: кому патроны, кому ствол, кому, как ему, аж целую «адскую машину».

Потому и сложилось в оконцовке: засыпал на лавочке обычным, зла никому не желавшим, пусть порою без меры, выпивающим человеком, а... проснулся почти душегубом, почти террористом и, уже на все сто процентов, преступником.

Это он-то преступник?

Он, который когда-то курице не смог отрубить голову...

Он, который когда-то самым серьёзным образом занимавшийся каратэ и за это время глубоко усвоивший смысл восточной мудрости, что несостоявшийся поединок – это выигранный поединок...

Он, который как-то очень рано и самостоятельно, без всяких увещаний и нотаций, даже ещё до своего Афгана, понявший, что не только человеческая жизнь, но и человеческое здоровье, – ценность, которой распоряжаться дано только Господу Богу самому...

Разве не это – главный Абсурд нынешнего момента его биографии?

А с каких это пор на улицах города стали торговать взрывными устройствами? Это что – бесплатное приложение к предыдущему Абсурду?

Кстати, он точно помнил, что и денег у него в тот вечер не было вовсе... Значит, пошла мода в городе «адские машины» подвыпившим мужикам раздавать?

Странная, чисто Абсурдная мода...

Выходит, и переполненная камера СИЗО, где по три обитателя на одну шконку приходится, – это ещё одно дополнение того же Абсурда? Или часть его декорации?

А декорации эти порою меняются: вот прямо сегодня, всего часа два назад, продольный через кормяк листовочку на компьютере состряпанную забросил. Забавная, особенно в этих стенах, листовочка. Вот она на самом видном месте хлебным мякишем к стене прилепленная красуется:

**К ВАШИМ УСЛУГАМ!
РЕСТОРАН «ЖЕМЧУЖИНА»**

предлагает Вам широкий ассортимент горячих комплексных обедов по совершенно доступной цене.

Высокое качество и разнообразное меню, в которое входит первое блюдо, второе (мясное или рыбное), салат и напиток. Доставка блюд производится в течение 1 часа после их приготовления.

Удобная фасовка.

Недорого и вкусно.

Порадуйте себя и своих близких.

**КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ
ПО ЦЕНЕ 260 РУБЛЕЙ,
КОТОРЫЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
ЧЕРЕЗ МАГАЗИН УЧРЕЖДЕНИЯ.
АДМИНИСТРАЦИЯ**

Впрочем, никакой забавности в этом листочке и нет. Зато Абсурда – выше крыши. Обеды из ближайшего вольного ресторана? Для арестантов, которых в хате по трое на шконарь приходится? И кто же это будет есть, если рядом у всех остальных в шлёнках казённое варево, самый распространённый вид которого – «братская могила», это когда перемороженная рыба неведомой породы кипятком ошпаривается и в таком виде, по мнению тюремной администрации, съедобным считается?

На таком фоне какая-то нечисть, невесть каким путём здесь появившаяся, – пустяк, незначительная деталь той самой декорации. И не надо этих тварей бояться, и не надо так много внимания им уделять, вообще не надо о них думать.

Не бояться... Внимания не уделять... Не думать...

Легко сказать...

А, если всё-таки выскочат и навалятся разом... Что тогда? С голыми руками одному против троих...

Всё равно, по большому счёту, ни страха, ни удивления по-прежнему не было...

Да и досада куда-то подевалась...

Вместо всего этого внутри что-то похожее на любопытство шевельнулось... Только не тихое и безобидное, а какое-то вздёрнутое, почти агрессивное... Тогда же и подумалось: может быть, и не надо ждать, пока эта нечисть снова объявится, тем более в единый фронт объединён-

ная... Может быть, пока вся троица по одиночке по разным углам хоронится, по этим углам и пройтись: кого тем же кипятком уgomонить, кого о стенку шмякнуть, кого просто придушить...

Вот только как своими руками этой дряни касаться? И как эту нечисть в хате искать, на кого со стороны похож будешь, если с воинственной суею начнёшь под шконарями лазить, во все углы заглядывать? Разве не Абсурдным такое поведение всем соседям покажется?

Может быть, всё-таки врача? Пусть мусорского, пусть всех арестантов ненавидящего?

А что врачу этому сказать, с чего разговор свой через кормяк начинать? Просить, чтобы спас от каких-то, только ему одному известных гадов?

Это как со стороны смотреться будет? Что в хате по этому поводу говорить будут?

Опять где-то глубоко и далеко внутри сознания замаячил вёрткий рыжий зверёк с хитрым и хищным выражением усатой мордочки. Оттуда же почти спасительное, но всё-таки вопрошающее прозвучало: «Белочка?»

Винокуры-затейники недавно водку с таким названием выпустили. То ли на потеху, то ли в издевку, то ли высшим креативным смыслом руководствуясь. Сейчас об этом как о чём-то запредельно далёком вспомнилось. Куда ближе другое было. Опять же с образом рыжего шустрого зверька связанное. Пришла, накатила тёплой и ласковой волной, очень простая и очень серьёзная мысль: «Если я сам столько и так серьёзно про эту самую белочку, которая – болезнь, размышляю, значит, в здравом я уме, значит, сохранил рассудок, значит, никакой тут белочки и в помине нет...»

Удивительно, а, скорее, вполне естественно, что всё время пока мысли были незваными гостями заняты, его слух не работал. Не слышал он ни ровного гула перенаселённой хаты, ни разговора совсем близких сокамерников, даже всегда пронзительный визг панцирной сетки, на которой ворочался, не слышал. Будто кто-то комки тёплой ваты в уши воткнул и утрамбовал.

А потом как-то всё резко изменилось: и вата из ушей куда-то делась, и слух вернулся, и все, жившие в хате звуки, разом обозначились. Опять же удивительно, что самые неприметные, самые пустячные из них, вроде вполне интеллигентного клокотания закипающего чайника или почти деликатного стука бросаемых костяшек нардов в первую очередь о себе напомнили. Следом и обрывок арестантского разговора зазвучал. Поводом к нему был... голубь, что по ту сторону решетки на подоконнике объявился.

Голову в сторону единственного в камере оконца поворачивать не хотелось, но он и без этого ясно представлял, как нарядная птица с важным достоинством топчется в ожидании угощения на кирпичном краешке. Тем же самым обострившимся слухом улавливал не только булькающее воркование, но и нетерпеливый перестук коготков по подоконнику. Казалось, даже шуршание перьев о прутья решетки слышал. И арестантские голоса этих скромных звуков вовсе не заглушали:

– Петлю сладить надо и крошек насыпать... Точняк попадётся...

– А дальше чего?

– Чего-чего... Ничего... Варить... Два кипятильника зарядить сразу...

– Банка пойдёт? Лук есть... туда ещё запарик добавить можно... Лапша получится...

– Тебе чего баланды не хватает?

– Баланда и так поперёк горла торчит...

– Правильно... В натуре, я по первому сроку в голодную зону попал, так там голубями и спасались...

– А вдруг там зараза какая, голуби, ведь они всю дорогу по помойкам...

– Да ладно... По помо-ой-кам... Вон англичане, какие балованные, а жрут их почём зря..

– Ты ещё французов с лягушками вспомни...

– Не хочешь – не ешь... Через час баланду привезут, я тебе свою пайку отдам...

– Супец что надо будет...

– И охота тебе мудохаться, перья дёргать, кишки скоблить...

Он не различал, кому из сокамерников принадлежали голоса. Казалось, что все эти голоса вовсе одинаковые, будто один человек сам с собою, пусть разных тонах и с разной интонацией, разговаривает. Правда, потом в этой одноголосице зазвучали и особняком обозначились слова:

– Хорош тут в охотников играть! То же мне – добытки! Кровищей всё крутом уделаете, она потом вонять будет, а в хате и без того дышать нечем!

По характерной хрипотце и повелительным ноткам ясно было, что говорил Вован Грек.

«Наверное, надо было ему всё-таки про гадов рассказать, может, ещё не поздно поделиться...» – совсем неспешно прокрутилось в голове. Прокрутилось неспешно, но потом сразу скукожилось и уступило место совсем другим быстрым и резким мыслям:

«Не было никаких гадов! Ни гусеницы, ни жабы, ни этого, что из веточек-палочек собран! Не было! Почудилось! Может быть, ранее выпитая водка аукнулась. Может быть, глюк нарисовался, потому что воздух в хате спёртый. Может быть, тот самый Абсурд, что здесь во всём и везде, повлиял. А гадов не было! Потому как быть просто не могло...»

Он посмотрел в сторону окна. Голубь, по-прежнему воркуя, топтался на кирпичном узком подоконнике, всё ещё надеясь получить какое-нибудь угощение.

Была возможность полностью рассмотреть птицу: голубь как голубь, не самый красивый, но и не дворовый неряшливый заморыш. Пёстрый, больше серый, с надутой грудью с переливами, с внимательными, чуть ли не насмешливыми глазами.

«Голубь-то – настоящий, а гадов – не было!» Ему показалось, что он даже не подумал, а произнёс это вслух. Возможно, так и было, но никто в камере этой фразы не услышал.

Потом...

Потом, он, кажется, успокоился, Кажется, задремал, свернувшись так, как диктовала продавленная и провисшая сетка шконаря.

Всё, что происходило и звучало в хате, он слышал. Правда, в приглушённом, сглаженном, совершенно безвредном виде. Такие звуки не раздражали, не беспокоили. Ещё немного и они могли бы стать полноценной частью тишины.

Кажется, он собирался уснуть. Сон обещал быть щедрым на добрые вольные сновидения. Только... не сложилось.

Сквозь дремоту, круша только наметившийся хрупкий контур грядущего сны, прорвались звуки. Уже другие: резкие и грубые. Сначала залязгали ключи в замке, затем гроыхнула дверь, потом ухнула не менее металлическая команда:

– Освободить помещение!

После короткой беззвучной, но всё равно отдающей металлом, паузы, новый окрик:

– Всем выйти в коридор!

Шмон!

Ещё не оторвав тела от койки, он посмотрел в сторону происхождения звуков. От того, что увидел – ни страха, ни удивления не появилось. Разве что досада образовалась, потому в первых трёх маячащих на пороге камеры фигурах угадывались недавние, показавшиеся навядением, гости. Угадывались, несмотря на внешнее, вроде как человеческое обличие, берцы, камуфляж и прочие мусорские атрибуты.

Всё верно.

У первого – вертлявое, будто без позвонков тело, глаза навывкате, будто на ниточках к голове прикрепленные, на той же голове волосы ежиком, показалось даже трёхцветные с зелёной проседью.

У второго – кожа бугристая, словно сплошь из бородавок составленная, глаз не угледеть, а ноздри ходуном ходят, и внутри у них что-то влажное и лиловое с хриплым свистом колыхается.

У третьего лица не различить, будто и нет вовсе, зато тело приметное – сухое, тощее, с руками и ногами на манер шарниров к нему пристроенными, ни дать, ни взять пучок хвороста в прикиде форменном.

Отсюда и досада:

– Выходит, всё-таки были!!!

Получается, вернулись!

Тут же и вывод мощный густой и тёмный, жесткий как приговор:

– Значит, Абсурд здесь главный!

Рядом что-то и посветлей, но слабое и рябенькое, совсем неуверенное, даже для ответа не обязательное:

– А голубь? Голубь-то был?

Голубь, возможно, и был, только что это меняет?

От этого разве что та самая досада только гуще становится.

«Отче наш» пропиленовый

Пижон хренов! Дурак! Идиот! Себе, себе самому, говорю!

Подумаешь, проверить ему себя захотелось... Не время и не место сейчас здесь себя проверять.

Решил выйти на работу, хотя в этой зоне, да с учётом твоего возраста, это совсем не обязательно, так иди – работай. Хочешь формовщиком – формуй, натягивай на специальных «рогах» один мешок на другой. Хочешь швеем – шей, сшивай на дребезжащей машинке доньшки в тех же самых мешках.

Спокойно, ритмично, без напряжения, без надрыва, с перекурами и разговорами. Главное – на смену выйти, а выполнил ты норму, не выполнил – дело десятое. Всё равно, сырьё поступает плохо, оборудование каждую неделю ломается. Норму эту просто невозможно выполнить. День прошёл, и... ладно. Ни гонки – ни спешки.

Зачем подался в грузчики? В пятьдесят лет с мешком на спине по ступенькам, по пролётам?

А в мешке – семьдесят пять килограммов. А ступеньки – косые, стёсанные, вечно скользкие, будто кто-то накануне салом натёр. А пролёты – узкие, два человека с трудом разойдутся. Упадёшь на этих ступеньках, в этих пролётах – одному без посторонней помощи мешок обратно на горб (именно на горб, на тот участок спины, что между шеей и лопатками) уже не поднять. Впрочем, не это главное. Главное – совсем другое.

Главное, что за тобой следом вся бригада идёт, целая вереница таких же грузчиков, с такими же мешками на горбу. Уронишь свой мешок – вся цепочка остановится, и людям в этой цепочке только стоять, ни вперёд – ни назад, ни вправо – ни влево. Ибо впереди – ты со своим упавшим мешком корячишься, сзади другие грузчики с теми же мешками, справа – стена, такая же скользкая, как ступени, слева – перила лестничные, кривые да гнутые, как ограды на старом кладбище. Случись, упадёшь ты – это авария для всех, вся цепочка встанет, весь рабочий день поломаётся. Ну и услышать всё, что полагается, в такой момент от соседей, которые сзади переминаются, представить несложно.

В самый первый день, в самую первую смену, как вышел на работу, понял: надо концентрироваться только на одном, на самом главном – чтобы не упасть, не поскользнуться, чтобы не занесло в этих чёртовых пролётах. А как сконцентрироваться? Просто только об этом думать – не получается, просто не думается, а то и всякая чушь начинает в голову лезть. Попробовал тогда губу закусывать. Для концентрации воли и ясности мысли. И здесь своя методика, свои подходы. Оказывается, закусывать губу надо не передними зубами – резцами, они плоские, считай, тупые, а клыком, левым или правым – всё равно, главное, чтобы чувствительней, чтобы больнее. На первых ступенях её просто прихватывал, потом с каждым пролётом больше прижимал, давил сильнее и сильнее. Перед дверью в цех на верхнем этаже, куда эти мешки донести требовалось, рот полон крови был, и от этой крови тошнило, того гляди рвать начнёт. Получалось, что не выход это – губы кусать.

Во вторую смену вспомнил, что принято считать, будто верующему человеку в подобных ситуациях надо непременно молиться. А как молиться? Кому молиться? Просто Богу или каким-то конкретным святым? Разве существует «специальная» молитва для того, кто «награждён», якобы правым судом, семилетним сроком за несовершенно совершенные преступления, кто отбывает этот срок на зоне строгого режима и работает на этой зоне грузчиком, в обязанностях которого таскать на горбу громадные мешки на верхний этаж, в швейный цех?

Говорят, что в особых случаях разрешается молиться своими словами, главное, чтобы искренне и горячо. Наверное, случай у меня вполне особый, думаю, что и слова, самые искренние, самые горячие я бы нашёл, только не получается так именно здесь, именно сейчас. Не

получается на скользких ступеньках, на узкой лестнице, с семидесяти пятью килограммами на горбу подбирать эти самые искренние и горячие слова. Не получается сознание «раздваивать», не выходит мозг «делить»: одним полушарием слова для молитвы подбирать, другим напрягаться, сосредотачиваться, себе под ноги смотреть, чтобы не споткнуться, не поскользнуться, чтобы не занесло на повороте.

А, вообще, на нынешнем этапе собственной биографии, наизусть знаю я одну единственную молитву «Отче наш». Вот и начал её повторять всякий раз, поднимаясь по этим ступеням. Слава Богу, успел выучить, выучил ещё до суда, ещё в «пятёрке» – пятом московском центре¹, проще говоря, в тюрьме. Очень вовремя, очень кстати, получается, выучил.

Когда мешок со склада из общей кучи забираешь, тут и без «Отче наш» можно обойтись. Если с верхушки кучи забираешь – значит, повезло, особых усилий не требуется – перевалил мешок сверху вниз себе на горб и... вперёд. Если кипа до середины дошла – уже тяжело, но терпимо – чуть присел и рывком на выдохе поднялся, уже с мешком на горбу. Хуже всего, когда выпадает тебе последний мешок из кипы, что лежит на полу склада, брать. Тут уже и никакой «Отче наш» не поможет, непременно приходится кого-то просить помочь накинуть этот мешок тебе на спину. И здесь своя методика существует: поднимают два арестанта этот мешок и резко на «раз-два» подбрасывают его вверх. Тот, кому его тащить, в этот момент должен очень быстро развернуться, и под подброшенный мешок свою чуть нагнутую спину подставить.

А проникновенные слова из главной христианской молитвы шепчешь, когда с мешком начинаешь по лестнице подниматься.

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твоё, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли...».

Под эти строки всегда только один пролёт и успеваешь преодолеть. Ноги ставишь широко. Чуть враскоряку для устойчивости, руками мешок, что на горбу лежит, за края поддерживаешь, глазами по сторонам косишь, а главное внимание вниз, под ноги – вдруг окажется на ступеньках злополучная апельсиновая корка. Хотя, откуда здесь, на «промке» зоны строгого режима, корка заморского фрукта – символ недоступной свободы, символ совсем другой жизни? Куда вероятней поскользнуться на чьей-то жирной харкотине или зелёной гайморитной, выстреленной через два пальца, сопле.

Потом второй пролёт...

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь...».

Шепчешь высоко духовное, а думаешь о самом обыденном. Хлеб в зоне даже двадцать первого века – тема всегда актуальная. Его три раза в день выдают. В завтрак. В обед. В ужин. По пайке. Пайка – одна пятая часть буханки. Выходит, три пятых буханки в сутки на человека. В принципе, хватает. С учётом всего остального (каша, макароны, картошка плюс посылки-передачи, у кого такая возможность есть, раз в три месяца). И, вообще, наша зона – сытая. На то особые, самые верные показатели есть. Во-первых, голубей здесь полно. Голуби – жирные. Ленивые. Их никто не ловит, не ест. Значит, сытые арестанты в зоне, значит, вся зона – сытая. Ещё один аргумент из той же области – кошек в лагере много. Кошки – сытые, своенравные. На них никто не покушается.

Верно замечено, про жратву арестант всегда размышлять готов, но сейчас ступеньки важнее. Те самые, что скошенные и скользкие, будто салом намазанные.

Только бы не поскользнуться, не оступиться, не споткнуться. Ведь упадёшь – остановится весь караван грузчиков. Каждому при этом ни вперёд – ни назад, только стоять, да ждать.

Стоять да ждать..., а на горбу семьдесят пять килограммов!

¹ Централ (тюремн.) – судебно-следственный изолятор, тюрьма.

Стараюсь смотреть себе под ноги, внимательно смотреть, но глазам своим до конца не доверяю. Что там увидишь, когда лестница почти не освящена (дефицит на зоне лампочки, мусора обвиняют зеков, будто те воруют, зеки в обратном уверены – мусора-крохоборы домой эти лампочки тащат, копейки экономят). Потому и при каждом шаге ноги ставлю с размаху, со стуком, крепко и широко, будто по обледелой горе поднимаюсь.

«..И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим...».

Долги... Долги... Вечная тема. От библейских времён до сегодняшних дней. И здесь, в зоне, эта тема актуальна. За невозвращенный в срок карточный, да и любой прочий долг, многое, очень многое потерять можно: статус, доверие, уважение, из категории порядочного мужика в фуфлыжники² соскользнуть, а оттуда и до петушатника³ совсем недалеко. Скатиться легко, а назад – никак. Как в некоторых видах зубчатой передачи – только вперёд, назад – исключено. Чуть силы прибавишь – кр-а-а-а-к, весь механизм ломается, никакого движения. Так и в лагерной иерархии – легко вниз кувыркнуться, а назад дороги нет. Ярлык фуфлыжника на весь срок. Да что там срок! Это тавро отсюда и на свободу выносят, и тавро это уже в последующей, вольной жизни, не отмыть, не соскрести.

Удивительное дело – сколько раз поднимался по этим ступеням, не могу их сосчитать. Конечно, можно было бы сосчитать количество пролётов, потом число ступенек в одном пролёте, ступеньки умножить на пролеты, вот только сделать это... не получается. Строили этот корпус лет двадцать назад такие же арестанты, возможно, они его и проектировали. Очень может быть, вообще никакого проекта не было, и такое здесь вполне могло быть, строили по мере поступления материалов, в соответствии со взлётами фантазии «хозяина»⁴. Потому и здание это какое-то нестандартное, нетипичное, неправильное. Всего четыре этажа, а по высоте, если с обычными многоквартирными домами сравнивать, на все шесть этажей потянет. Высота у каждого этажа очень разная, потому и число пролётов на каждом этаже не совпадает. Да и размеры этих пролётов отличаются: в одном восемь ступенек, в другом целых двенадцать.

Вот и выходит, что не сосчитать эти ступеньки вовсе, а если не сосчитать, значит, представляется их количество бесконечно большим, неисчислимо великим. Никакой арифметики, никакой математики. Сплошная мистика! Чистый Кафка! Ирреальность с серным запашком бесовщины. Как же здесь без нечистого, когда не могу, не получается сосчитать эти треклятые ступеньки, которых на самом деле, возможно, и не так уж запредельно много. Неспроста, верно, пришло в голову «Отче наш» на этих ступеньках читать. И про лукавого там, аккурат, как актуально.

«...И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого...».

С лукавым всё понятно. Здесь даже запах серы присутствует. Почти натуральный. От тех самых мешков, что мы на горбу таскаем. Возможно, это вовсе не сера, а какая-то другая химия, но я уверен, что в преисподней пахнет именно так, и от этого самого «лукавого» точно так же разит. Острый, едкий, раздвигающий ноздри и жалящий гортань запах. В каждом мешке пачки спрессованных пакетов и других мешков, из которых потом в цехе тару для мела, удобрений и прочего сыпучего товара делают. Говорят, что сырьём для этих мешков и пакетов служит плёнка, в основе которой полиэтилен, полипропилен, ещё какие-то этилены-пропилены. А запах от всего этого, действительно, ядовитый. Уже замечено, как подозрительно долго живут самые простые царяпины у тех, кто постоянно «общается» с этими этиленами-пропиленами, как нехорошо сухо и натужно кашляют эти арестанты. Не удивлюсь, если узнаю, что этот «этилен-пропиленовый» материал, с которым мы работаем, вовсе относится к сырью, с кото-

² Фуфлыжник (тюремн.) – арестант, не возвращающий долги, представитель крайне не уважаемой категории лагерного населения.

³ Петушатник (тюремн.) – место проживания (отдельный барак или специально отведённое место в общем бараке) «петухов»: опущенных, обиженных и пр. представителей самых низших, презираемых категорий арестантов.

⁴ Хозяин (тюремн.) – начальник исправительного учреждения, зоны.

рым на воле людям уже давно запрещено работать. В крайнем случае, пару часов в смену, в респираторах, в спецодежде, при усиленном питании с молоком и т. д.

Впрочем, не мы первые – не мы последние дышим этим, трогаем это, работаем с этой химией. С той самой, что лежит сейчас на моём горбу. С той самой, что сейчас очень боюсь уронить. Кстати, слова молитвы уже кончились, а из пролётов, которых неведомо сколько, только два и миновать успел. Значит, снова:

«Отче наш, Иже еси на небесех!».

Всё-таки слаба моя вера, хотя и в генах моих эта вера. Верно, крещён в младенчестве, как положено. Решились, отважились родители в пору самого остервенелого атеизма. Крестильный чепчик, крестик, распашонка до сих пор в родительском доме, у старшей сестры, что в этом доме до сих пор живёт, хранятся. Ну, а потом всё совсем по другим рельсам покатилося. Октябрьенок, потом пионер, комсомолец. «Бога – нет, космонавты летали – ничего не видели». «Религия – пережиток, утешение отсталых людей». Курс научного атеизма и другие глупости в обязательном порядке. Танцы в клубе в пасхальную субботу до часу ночи вместо обычных одиннадцати. По «ящику» в тот же вечер непременно что-то захватывающее, вместо традиционных доярок-сталеваров и симфонического пиликанья.

Вот и вышло в итоге, что первую в своей жизни молитву я выучил в сорок с большим хвостиком в общей «хате» пятого московского централа. Конечно, это не обретение веры, а только попытка к ней подступиться, присмотреться, примериться. Верно, и в Храм здесь, в зоне, хожу. Не ради подражания и не за компанию – потребность есть. Молюсь обычно «своими словами» (кроме «Отче наш» и «Символа веры» ничего толком и не выучил пока), только в молитвах моих слово «смирение» ни разу произнесено не было. Выходит, слаба моя вера, значит, я в ней пока только одной ногой.

«Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое...».

Вера – верой. Только сейчас самое важное, по-прежнему, чтобы не поскользнуться, не оступиться, не споткнуться, а главная мысль вовсе не из высоких духовных сфер, а про то, какой дурак, или какая сволочь придумали здесь такие крутые ступени и такие узкие лестницы. Да что там «придумали»! Неужели уже потом, когда расположились по этажам здания склады, цеха и мастерские, нельзя было оборудовать что-то вроде лифта, подъёмника, какой-нибудь, пусть средневековой, лебёдки, чтобы эти мешки, что таскаем мы нынче на собственном горбу, поднимать наверх?

Неужели никому не приходило это в голову? Или пеший подъём с мешком в семьдесят пять килограммов на горбу на четвёртый (считай, шестой, если переводить на стандартные габариты) этаж – это обязательная составная часть того самого строгого режима, разные дозы которого (кому пять, кому десять и более лет) прописали нам те, кто нас сажал (кого за дело, кого за полдела, кого вовсе ни за что).

Удивительно, на шмонах нас «прозванивают» сверхчувствительными металлоискателями, наши мобильные телефоны (признаю, пользуемся на нелегальной основе) прослушиваются сверх хитроумной аппаратурой, все наши данные закачаны в самый современный компьютер. Электронные, тонкие технологии! И на этом фоне мы с этими мешками на горбу, по этим ступенькам на полусогнутых, враскоряку. Точно также как коллеги наши – гулаговцы лет семьдесят назад, как коллеги наши – каторжане лет двести назад, как коллеги – рабы лет так тысячу и больше назад. Где он, этот прогресс? Где признаки этой самой цивилизации? Где приметы этого двадцать первого века? Верно, не для нас этот прогресс. Верно, мимо нас рысью несётся эта цивилизация. Верно, напрочь забыл про нас этот двадцать первый век. Неужели на всё это воля Божья? Та самая, о которой в молитве сказано?

«...Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли...».

Ещё чуть-чуть, и станешь атеистом. Потому что не может так быть, чтобы человек с этим мешком по этим ступенькам, и... как будто в порядке вещей, как будто это, так и должно быть, как будто это нормально и правильно.

Помню, как отработав самую первую смену в самый первый день выхода на «промку»⁵ я испытал состояние, для которого богатый русский язык имеет очень точное определение: «как пыльным мешком ушибленный». Меня не то, чтобы пошатывало – откровенно мотало из стороны в сторону, тошнило, я перестал воспринимать добрую половину звуков, а на те звуки, что всё-таки добирались до моего сознания, я почему-то разворачивался всем корпусом, вместо того, чтобы просто повернуть голову в нужную сторону. Наверное, в тот момент своим состоянием и поведением я здорово напоминал оглушенную и контуженную, откровенно одуревшую жертву обстрела сверхтяжелой артиллерии.

Со второй смены, топая по ступеням со своей ношей, я стал повторять «Отче наш». С «Отче наш» было всё-таки легче. Или так казалось? За вторым днём последовал третий, потом четвёртый, пятый... Каждый с многократным повторением молитвы, которую про себя иногда (наверное, это богохульство, да простит меня за это Господь) стал называть «Отче наш пропиленовый». Главная особенность настроения тех дней – не оставлявшее меня ощущение мешка на горбу, большой тяжести на специфическом участке спины между шеей и лопатками. Это ощущение не покидало меня даже ночью, когда я спал, когда находился в горизонтальном положении, и, кажется, ничего подобного ощущать был просто не должен.

В грузчиках я проработал ровно две недели. Потом ушёл. Перевёлся в формовщики: всю смену у простенького станка-рамы, метко названного арестантами «рогами», на которую натягивал сначала один тонкий и прозрачный мешок, потом другой – толстый и тёмный. Работа спокойная. Ритмичная, без напряжения, без надрыва, с перекурами и разговорами.

Но из грузчиков я ушёл уже после того, как «смотрящий»⁶ за сменой земляк Деи одобрительно стукнул мне в плечо: «Да ты уже вроде как втянулся, от мужиков не отстаёшь...».

К тому времени я уже и сам чувствовал, что втянулся. Только из грузчиков я всё равно ушёл. То ли потому, что двух недель мне хватило, чтобы проверить себя. То ли потому, что смалодушничал. И судить меня за это некому. Сам пришёл – сам ушёл.

⁵ Промка (тюремн.) – часть территории колонии, где располагается промышленное производство.

⁶ Смотриющий (тюремн.) – уполномоченный лагерным «блаткомитетом» авторитетный «порядочный» арестант, в обязанностях которого «смотреть» за порядком, помогать в разрешении спорных ситуаций между «мужиками» с одной стороны и «козлами», мусорами с другой на доверенном участке (смотрящий за столовой, за санчастью, за «промкой», за цехом и т. д.).

Астрал арестанта Костина

Как только поднялся Никита Костин из карантина на барак, снова перебрал все свои обретения и жизненные перспективы. Вспоминал, думал, прикидывал. Кубатурил, как на зоне говорят. Пришёл к выводу жуткому.

– А Бога-то – нет! – про себя сказал, но едва мысленно завершил страшную фразу, озабоченно оглянулся. Будто выискивал тех, кто мог подслушать его непроизнесённое дерзкое откровение.

Ещё и голову втянул так, что подбородок упёрся в воротник новой, не стиранной и потому стоящей колом, арестантской робы. Словно ждал, что гроыхнёт сверху или накроет чем-то тяжёлым.

Не гроыхнуло и не накрыло. Наверное, «сверху» было видно, что сейчас этого человека, даже за такое грубое богохульство, карать нельзя.

Потому как все его обретения и жизненные перспективы, по поводу которых он только что нервно кубатурил, представляли на сегодняшний день непроглядную смесь из беды и горя.

Безо всякого, хотя бы ничтожного, вкрапления чего-нибудь светлого и хорошего.

Только за последние полгода, что уже выдрала из биографии неволя, три события полоснули его душу, оставляя раны, которым и рубцами стать предстояло ещё нескоро.

Через два месяца после ареста умерла мать. То ли окончательно сражённая переживаниями за всю выпавшую сыну несправедливость. То ли просто исчерпал запас хода её организм, надсаженный честным трудом на совхозных и личных грядках.

О смерти матери он узнал окольными путями (по мобиле, строго запрещенной в стенах следственного изолятора, но без которой жизнь этого изолятора представить нельзя) только спустя неделю после похорон. Телеграмму, посланную в СИЗО родственниками, ему не передали. Тюремная администрация, посоветовавшись со следаками, что вели его дело, решила: не надо нервировать подследственного, вдруг начнёт буйствовать или откажется от показаний, с таким напрягом из него выбитых.

По тому же каналу докатилась до Никиты ещё одна новость: отец его, едва похоронив жену, люто запил, пил две недели, пропил всё, что можно поднять и вынести, а на финише запоя спутался с Танькой соседкой, промышлявшей самогонным ремеслом. Многие мог Никита понять, соответственно, простить, но чтобы отец... с Танькой? С Танькой, о которой весь посёлок говорил, сколько он себя помнил, что она слаба на передок, что в самогон для крепости бросает окурки... не получалось понять!

Чуть позднее письмо от жены пришло. Короткое, как статья в кодексе. Строчки по пальцам сосчитать можно.

«Извини, давай без обид. Не вытяну. Ждать не буду. Уезжаю к матери. Игорька забираю. Все бумаги тебе потом вышлю. Выйдешь – всё с чистого листа начнёшь. Может быть, лучше получится...».

Читал – комками давился. Каждая строчка – что удар оперов, когда признания выколачивали. Под дых, в грудину, по шее, по печени. Синяков не остаётся, а сердце заходится, того гляди, выскочит.

Конечно, задумывался над всем этим, задавал сам себе вопросы, главным из которых был не «за что?», а «почему именно мне столько»? Ответов не находил. Потому что все беды, настигшие его после ареста, при всей своей жгучести, всё-таки как-то сникали и жухли рядом с самым главным фактом всей его жизни. Факт этот был чёрен, тяжёл и не вписывался ни в какие привычные параметры времени и пространства. Заключался он в единственном: ближайшие двадцать лет своей биографии (возможно, и последние, с учётом средней продолжительности

жизни в любезном Отечестве, с поправкой на условия существования за колючкой и т. д.) придётся провести ему в неволе.

Двадцать лет... Перевести в месяцы – двести сорок. Это уже в голове не укладывается. На дни лучше не переумножать – крышу снесёт напроц. Полученное число непременно на цифры распадётся, а эти цифры сложат могучие жернова, которые тебя во что-то несущественное разотрут. Вот где корень некогда случайно услышанного выражения – «пыль лагерная».

Делюга Никиты Костина по нынешним временам вполне претендовать могла на типичный пример мусорского беспредела, когда на одного человека вешалось столько, сколько на дюжину матёрых преступников хватило бы. По такому сюжету хоть сейчас сценарий для сериала душещипательного сляпай – кассовый сбор гарантирован.

Присутствовало в этой делюге и мошенничество с квартирами, и убийства людей, в тех квартирах когда-то проживавших, и ещё многое, от чего закатывают глаза и переходят на свистящий шёпот женщины на лавочках у подъезда. Это согласно мусорским бумагам.

На самом же деле правды в тех бумагах была лишь доля процента.

С квартирами, верно, мухлевал. Было дело, бес попутал: захотелось лёгких рублей, охотули чёрные маклеры. Что же касается жмуров и всего остального – ложь, подстава оперская. К убийству прошлых хозяев квартир, которые через него проходили, он никакого отношения не имел. Да и не мог иметь в силу совокупности всех своих внутренних качеств. С малолетства был он твёрдо уверен, что человеческая жизнь – это очень серьёзно, и, чтобы один человек у другого её забрал... нужны для этого сверх убедительные причины, типа войны или защиты близких своих.

Только следакам из бригады, что занималась делом Никиты Костина и его коллег по риэлтерской конторе, на подобную лирику было плевать. Для них главным было с резонансным делом закончить в срок. Они и закончили. Отчитались, отрапортовали. Очередные звания, должности, премии получили. А Никита Костин по итогам всей этой возни получил двадцать лет строгого режима, которые по сей день в голове у него не просто не укладывались, а тяжело ворочались и натужно топорщились. Отсюда – и состояние, к сумасшествию близкое, отсюда – и вывод недавний, страшный и богохульный.

«Нет Бога!» – ещё раз повторил Никита. Уже не про себя, а тихим шепотом. Уже не оглядывался по сторонам и не втягивал голову в воротник робы.

Снова не накрыло, не грянуло...

И вообще ничего после этих уже вслух произнесённых жутких слов не случилось. Так же мельтешили по сторонам фигуры арестантов, готовящихся к вечерней проверке, так же тлела хилым языком фиолетового дыма сигарета в его руке.

«Значит, так оно и есть... Значит, и надеяться не на что... Надеяться не на ближайшее время, а вообще».

Заюлили в голове несложные кусочки мыслей в развитие ранее сделанного жуткого вывода.

А следом размеренно и необратимо снова грянули те слова, которые раньше сам себе не мог сказать и от которых голова непроизвольно в плечи втягивалась. Под их ритм и все остальные, очень немногие в зоне, звуки подстраиваться начали.

«Бога – нет!» – безучастно вытикнували часы на стене барака.

«Бога – нет!» – пронзительно выскрипывал верхний шконарь под отсыпавшимся после ночной смены соседом.

«Бога – нет!» – тупо выстукивали коцы по схваченному морозом лагерному плацу.

Потом, вроде и звуков никаких не звучало, а слова эти нехорошие сами по себе уже жили внутри и тихо, но настырно поколачивали в виски.

Возможно, подчиняясь их ритму, стоя на вечерней проверке, начал Никита тихонько с пятки на носок переминаясь, покачиваться. Заодно и чтобы согреться, потому как затянулась

проверка, и холод ноябрьский, к которому тело, ещё не отвыкшее от летнего тепла, было не готово, о себе напоминал.

В момент одного из таких покачиваний Никита Костин вдруг испытал желание оттолкнуться чуть сильнее. Так и сделал, глубже вдохнув перед этим, отведя лопатки назад и подавшись нутром вперёд, как это делает поднимающийся с глубины ныряльщик.

Дальше случилось то, что заставило его здорово и удивиться и испугаться, потому что в тот самый миг вдруг увидел он себя сверху, с высоты приблизительно ещё одного своего роста.

Будто кто-то большой и сильный вытащил Никиту Костина из его оболочки, из тела, обряженного в робу и телугу, и подвесил его над всем этим.

Осторожно, словно страшись спугнуть что-то уже наступившее, но ещё не осмысленное, покрутил он головой. Увидел то, что и должен был увидеть. Справа – Лёху Мультика, тот умудрился закурить в строю, воровато пуская дым в рукав телуги. Слева – Ваську Цыгана, который по обыкновению «гнал», то ли вспоминая что-то из своего счастливого торчкового прошлого, то ли заглядывая в своё не менее счастливое и такое же, непременно торчковое будущее.

Чувствовал Никита, как вращает головой, мышцами шеи чувствовал, отмечал про себя, что меняется перед глазами, в то же самое время... видел себя самого с высоты своего роста. Видел, как стоит он в шеренге солдагерников, как поворачивается его голова, прикрытая сдвинутой на затылок зековской ушанкой.

Страх по поводу всего происходящего куда-то ушёл, любопытства прибавилось. Всё это любопытство легко помещалось в единственном вопросе: дальше то, что будет? Потом к любопытству прибавилось что-то похожее на ощущение великой усталости, будто разом заныли все, до этого неистово трудившиеся мышцы.

«Возвращаться пора!», – кто-то шепнул глубоко внутри.

И всё вернулось.

И себя со стороны и сверху больше не видно было.

Только ощущение усталости осталось, и сладкое воспоминание о полёте и парении сохранилось.

О том, что во время той проверки случилось, ни с кем Никита не поделился. Понимал, что с такими рассказами запросто можно в сумасшедшие загреметь, в ту категорию, о которой в лагере пренебрежительно и обречённо, махнув рукой, говорят: «Да у него гуси полетели». Да и как делиться, когда сам Никита не мог ни понять, ни объяснить, что же с ним тогда приключилось.

Объяснить он этого действительно не мог, но чутьём особым, которое даже не в каждом арестанте просыпается, а вольному человеку и вовсе не ведомо, понимал, что всё Это – серьёзно, что Это – дано свыше, что распорядиться Этим – надо исключительно правильно.

Когда-то на воле он что-то читал и про астральное тело, и про левитацию, и про полёты души отдельно от тела. Ещё что-то на эту тему с жаром, но очень туманно ему паренек в изоляторе рассказывал (на воле йогой увлекался, а сел, понятно, по «народной»⁷). Только благодаря чутью открывшемуся уверен был Никита, что копать во всём прочитанном и услышанном сейчас – не резон, только время терять, что только ему самому распорядиться всем этим.

И ведь было чем распорядиться.

«Значит, открылось... Значит, пришло... Значит, хотя бы что-то, чтобы двадцатку по беспределу плюс прочие пинки судьбы уравновесить... Только не спешить... Только горячку не пороть... Только на мелочи этот дар не разменять».

Очень здраво размышлял...

⁷ Народная статья – статья 228 УК РФ (незаконное производство, сбыт, нарушение правил оборота и т. д. наркотических средств).

Только первым желанием, что само по себе внутри сформировалось и наружу вырвалось, независимо от его мыслей, было: подняться повыше да рвануть, куда подальше. Прочь от подъёма по гимну, от локалок⁸, что так вольеры в зверинце напоминают, прочь от мусоров, что на тебя как на грязь смотрят.

⁸ Локалка (тюремн.) – участок, на котором расположен отряд, отделённый от всей территории лагеря решеткой с запирающейся калиткой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.